

Дневник писателя

Ежемесячное издание

1876

ЯНВАРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

І. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ О БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ МЕДВЕДИЦАХ, О МОЛИТВЕ ВЕЛИКОГО ГЁТЕ И ВООБЩЕ О ДУРНЫХ ПРИВЫЧКАХ

...Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут, да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием.

Нынче все с полным спокойствием. Спокойны и, может быть, даже счастливы. Вряд ли кто дает себе отчет, всякий действует «просто», а это уже полное счастье. Нынче, как и прежде, все проедены самолюбием, но прежнее самолюбие входило робко, оглядывалось лихорадочно, вглядывалось в физиономию: «Так ли я вошел? Так ли я сказал?» Нынче же всякий и прежде всего уверен, входя куда-нибудь, что все принадлежит ему одному. Если же не ему, то он даже и не сердится, а мигом решает дело; не слышали ли вы про такие записочки:

«Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решился покончить с жизнью...»

И застреливается. Но тут хоть что-нибудь да понятно: «Для чего-де и жить, как не для гордости?» А другой посмотрит, походит и застрелится молча, единственно из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство.

Уверяют печатно, что это у них от того, что они много думают. «Думает-думает про себя, да вдруг где-нибудь и вынырнет, и именно там, где наметил». Я убежден, напротив, что он вовсе ничего не думает, что он решительно не в силах составить понятие, до дикости неразвит, и если чего захочет, то утробно, а не сознательно; просто полное свинство, и вовсе тут нет ничего либерального.

И при этом ни одного гамлетовского вопроса:

Но страх, что будет там...

И в этом ужасно много странного. Неужели это безмыслие в русской природе? Я говорю безмыслие, а не бессмыслие. Ну, не верь, но хоть помысли. В нашем самоубийце даже и тени подозрения не бывает о том, что он называется *я* и есть существо бессмертное. Он даже как будто никогда не слышал о том ровно ничего. И, однако, он вовсе и не атеист. Вспомните прежних атеистов: утратив веру в одно, они тотчас же начинали страстно веровать в другое. Вспомните страстную веру Дидро, Вольтера... У наших — полное *tabula rasa*¹, да и какой тут Вольтер: просто нет денег, чтобы нанять любовницу, и больше ничего.

Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. О, как казался в этой черточке только что начинавшийся тогда Гёте! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? — он обязан лишь *своему лику человеческому*.

¹ Чистая доска (*лат.*).

«Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне».

Вот какова должна была быть молитва великого Гёте во всю жизнь его. У нас разбивают этот данный человеку лик совершенно просто и без всяких этих немецких фокусов, а с Медведицами, не только с Большой, да и с Малой-то, никто не вздумает попрощаться, а и вздумает, так не станет: очень уж это ему стыдно будет.

— О чем это вы заговорили? — спросит меня удивленный читатель.

— Я хотел было написать предисловие, потому что нельзя же совсем без предисловия.

— В таком случае лучше объясните ваше направление, ваши убеждения, объясните: что вы за человек и как осмелились объявить «Дневник писателя»?

Но это очень трудно, и я вижу, что я не мастер писать предисловия. Предисловие, может быть, так же трудно написать, как и письмо. Что же до либерализма (вместо слова «направление» я уже прямо буду употреблять слово: «либерализм»), что до либерализма, то всем известный Незнакомец, в одном из недавних фельетонов своих, говоря о том, как встретила пресса наша новый 1876 год, упоминает, между прочим, не без едкости, что все обошлось достаточно либерально. Я рад, что он проявил тут едкость. Действительно, либерализм наш обратился в последнее время повсеместно — или в ремесло или в дурную привычку. То есть сама по себе это была бы вовсе не дурная привычка, но у нас все это как-то так устроилось. И даже странно: либерализм наш, казалось бы, принадлежит к разряду успокоенных либерализмов; успокоенных и успокоившихся, что, по-моему, очень уж скверно, ибо квиетизм всего бы меньше, кажется, мог ладить с либерализмом. И что же, несмотря на такой покой, повсеместно являются несомненные признаки, что в обществе нашем мало-помалу совершенно исчезает понимание о том, что либерально, а что вовсе нет, и в этом смысле начинают сильно сби-

ваться; есть примеры даже чрезвычайных случаев сбивчивости. Короче, либералы наши, вместо того чтоб стать свободнее, связали себя либерализмом как веревками, а потому и я, пользуясь сим любопытным случаем, о подробностях либерализма моего умолчу. Но вообще скажу, что считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокаиваться. Ну вот и довольно об этом. Что же касается до того, какой я человек, то я бы так о себе выразился: «Je suis un homme heureux qui n'a pas l'air content», то есть по-русски: «Я человек счастливый, но — кое-чем недовольный»...

На этом и кончаю предисловие. Да и написал-то его лишь для формы.

II. БУДУЩИЙ РОМАН. ОПЯТЬ «СЛУЧАЙНОЕ СЕМЕЙСТВО»

В клубе художников была елка и детский бал, и я отправился посмотреть на детей. Я и прежде всегда смотрел на детей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства. Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для «Отечественных записок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался, и слава Богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка» — эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью развра-

та, раннею ненавистью за ничтожность и «случайность» свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любит-ся им еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, — все это оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на Бога. Все это выкидыши общества, «случайные» члены «случайных» семей.

В газетах все недавно прочли об убийстве мещанки Перовой и об самоубийстве ее убийцы. Она с ним жила, он был работником в типографии, но потерял место, она же снимала квартиру и пускала жильцов. Началось несогласие. Перова просила его ее оставить. Характер убийцы был из новейших: «Не мне, так никому». Он дал ей слово, что «оставит ее», и варварски зарезал ее ночью, обдуманно и преднамеренно, а затем зарезался сам. Перова оставила двух детей, мальчиков 12 и 9 лет, прижитых ею незаконно, но не от убийцы, а еще прежде знакомства с ним. Она их любила. Оба они были свидетелями, как с вечера он, в страшной сцене, измучил их мать попреками и довел до обморока, и просили ее не ходить к нему в комнату, но она пошла.

Газета «Голос» взывает к публике о помощи «несчастливым сиротам», из коих один, старший, воспитывался в 5-й гимназии, а другой пока жил дома. Вот опять «случайное семейство», опять дети с мрачным впечатлением в юной душе. Мрачная картина останется в их душах навеки и может болезненно надорвать юную гордость еще с тех дней,

...когда нам новы
Все впечатленья бытия,

а из того не по силам задачи, раннее страдание самолюбия, краска ложного стыда за прошлое и глухая, замкнувшаяся в себе ненависть к людям, и это, может быть, во весь век. Да благословит Господь будущее этих неповинных детей, и пусть не перестают они

любить во всю жизнь свою их бедную мать, без упрека и без стыда за любовь свою. А помочь им надо непременно. На этот счет общество наше отзывчиво и благородно. Неужели им оставить гимназию, если уж они начали с гимназии? Старший, говорят, не оставит, и его судьба будто уж устроена, а младший? Неужто соберут рублей семьдесят или сто, а там и забудут про них? Спасибо и «Голосу», что напоминает нам о несчастных.

III. ЕЛКА В КЛУБЕ ХУДОЖНИКОВ.
ДЕТИ МЫСЛЯЩИЕ И ДЕТИ ОБЛЕГЧАЕМЫЕ.
«ОБЖОРЛИВАЯ МЛАДОСТЬ». ВУЙКИ.
ТОЛКАЮЩИЕСЯ ПОДРОСТКИ.
ПОТОРОПИВШИЙСЯ МОСКОВСКИЙ
КАПИТАН

Елку и танцы в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать; все это было уже давно и в свое время описано, так что я сам прочел с большим удовольствием в других фельетонах. Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был, ни в одном собрании, и долго жил уединенно.

Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах. Любопытно проследить, как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу. Тут были даже шестилетние дети, но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платица, а дома ходят замарашками (при теперешних средствах среднего общества — непременно замарашками). Мало того, они наверно уже понимают, что так именно и надо, что это вовсе не

уклонение, а нормальный закон природы. Конечно, на словах не выразят; но внутренне знают, а это, однако же, чрезвычайно сложная мысль.

Из детей мне больше понравились самые маленькие; очень были милы и развязны. Постарше уже развязны с некоторою дерзостью. Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая середина и бездарность, это уже общий закон: середина всегда развязна, как в детях, так и в родителях. Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с неперменной повадкой вести за собою других и командовать. Жаль еще тоже, что детям теперь так все облегчают — не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. Вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное.

Что устрицы, пришли? О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать...

Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много!

Девочки все-таки понятнее мальчиков. Почему это девочки, и почти вплоть до совершеннолетия

(но не далее), всегда развитее или кажутся развитее однолетних с ними мальчиков? Девочки особенно понятны в танцах: так и прозреваешь в иной будущую «Вуйку», которая ни за что не сумеет выйти замуж, несмотря на все желание. Вуйками я называю тех девиц, которые до тридцати почти лет отвечают вам: вуй да нон. Зато есть и такие, которые, о сию пору видно, весьма скоро выйдут замуж, тотчас как пожелают.

Но еще циничнее, по-моему, одевать на танцы чуть не взрослую девочку все еще в детский костюм; право, нехорошо. Иные из этих девочек так и остались танцевать с большими, в коротеньких платьицах и с открытыми ножками, когда в полночь кончился детский бал и пустились в пляс родители.

Но мне все чрезвычайно нравилось, и если бы только не толкались подростки, то все обошлось бы к полному удовольствию. В самом деле, взрослые все празднично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) — толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом. Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат для развития в них развязности. Тем не менее мне все нравилось, с долгой отвычки, несмотря даже на страшную духоту, на электрические солнца и на неистовые командные крики балетного распорядителя танцев.

Я взял на днях один номер «Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в дворянском собрании, в артистическом кружке, в театре, в маскараде и проч. Если только верить корреспонденту (ибо корреспондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь. И странно: отчего это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадал в большое праздничное собрание русских людей, тотчас всегда мне начинало ка-

заться, что это они только так, а вдруг возьмут, встанут и сделают дебош, совсем как у себя дома. Мысль нелепая и фантастическая, — и как я стыдился и упрекал себя за эту мысль еще в детстве! Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. О, конечно, купцы и капитаны, о которых рассказывает правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были и всегда были, это тип неумирающий; но все же они более боялись и скрывали чувства, а теперь нет-нет и вдруг прорвется, на самую середину, такой господин, который считает себя совсем уже в новом праве. И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестие, и что это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут. С другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди собрания, где все кругом, дамы, кавалеры и даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со всеми, что как будто и в самом деле в Европе, — встать посреди этих европейцев и вдруг что-нибудь гаркнуть на чистейшем национальном наречии, — свиснуть кому-нибудь оплеуху, отмочить пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний европеизм, а мы вот они, все как были, никуда не исчезли!» Это приятно. Но все же дикарь ошибется: его не признают и выведут. Кто выведет? Полицейская сила? Нет-с, совсем не полицейская сила, а вот именно такие же самые дикари, как и этот дикарь! Вот она где сила. Объяснюсь.

Знаете ли, кому, может быть, всех приятнее и драгоценнее этот европейский и праздничный вид собирающегося по-европейски русского общества? А вот именно Сквозникам-Дмухановским, Чичиковым и даже, может быть, Держиморде, то есть именно таким лицам, которые у себя дома, в частной жизни своей — в высшей степени национальны. О, у них есть и свои собрания и танцы, там, у себя дома, но они их не

ценят и не уважают, а ценят бал губернаторский, бал высшего общества, об котором слышали от Хлестакова, а почему? А именно потому, что сами не похожи на хорошее общество. Вот почему ему и дороги европейские формы, хотя он твердо знает, что сам, лично, он не раскается и вернется с европейского бала домой все тем же самым кулачником; но он утешен, ибо хоть в идеале да почтил добродетель. О, он совершенно знает, что все это мираж; но все же он, побывав на бале, удостоверился, что этот мираж продолжается, чем-то все еще держится, какою-то невидимую, но чрезвычайною силою, и что вот он сам даже не посмел выйти на средину и что-нибудь гаркнуть на национальном наречии, — и мысль о том, что ему этого не позволили, да и впредь не позволят, чрезвычайно ему приятна. Вы не поверите, до какой степени может варвар полюбить Европу; все же он тем как бы тоже участвует в культе. Без сомнения, он часто и определить не в силах, в чем состоит этот культ. Хлестаков, например, полагал, что этот культ заключается в том арбузе в сто рублей, который подают на балах высшего общества. Может быть, Сквозник-Дмухановский так и остался до сих пор в той же самой уверенности про арбуз, хотя Хлестакова и раскусил, и презирает его, но он рад хоть и в арбузе почтить добродетель. И тут вовсе не лицемерие, а самая полная искренность, мало того — потребность. Да и лицемерие тут даже хорошо действует, ибо что такое лицемерие? Лицемерие есть та самая дань, которую порок обязан платить добродетели, — мысль безмерно утешительная для человека, желающего оставаться порочным практически, а между тем не разрывать, хоть в душе, с добродетелью. О, порок ужасно любит платить дань добродетели, и это очень хорошо; пока ведь для нас и того достаточно, не правда ли? А потому и гаркнувший среди залы в Москве капитан продолжает быть лишь исключением и поторопившимся человеком, ну, по крайней мере, пока; но ведь и «пока» даже утешительно в наше зыбучее время.

Таким образом, бал есть решительно консервативная вещь, в лучшем смысле слова, и я совсем не шучу, говоря это.

IV. ЗОЛОТОЙ ВЕК В КАРМАНЕ

А впрочем, мне было и скучно, то есть не скучно, а немного досадно. Кончился детский бал и начался бал отцов, и Боже, какая, однако, бездарность! Все в новых костюмах, и никто не умеет носить костюм; все веселятся, и никто не весел; все самолюбивы, и никто не умеет себя показать; все завистливы, и все молчат и сторонятся. Даже танцевать не умеют. Взгляните на этого вертящегося офицера очень маленького роста (такого, очень маленького ростом и зверски вертящегося офицера вы встретите непременно на всех балах среднего общества). Весь танец его, весь прием его состоит лишь в том, что он с каким-то почти зверством, какими-то саккадами, вертит свою даму и в состоянии перевертеть тридцать—сорок дам сряду и гордится этим; но какая же тут красота! Танец — это ведь почти объяснение в любви (вспомните менуэт), а он точно дерется. И пришла мне в голову одна фантастическая и донельзя дикая мысль: «Ну что, — подумал я, — если б все эти милые и почтенные гости захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушными, — во что бы обратилась тогда вдруг эта душная зала? Ну что, если б каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что если б каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямоты, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума, — куда ума! — остроумия самого тонкого, самого сообщительного, и это в каждом, решительно в каждом из них! Да, господа, в каждом из вас все это есть и заключено, и никто-то, никто-то из вас про это ничего не знает! О, милые гости, клянусь, что каждый и каждая из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада, Дон-Жуана,

Лукреций, Джульет и Беатричей! Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если б и всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами, в этой же бальной зале. Да что Шекспир! тут явилось бы такое, что и не снилось нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны!

Знаете ли, что даже каждый из вас, если б только захотел, то сейчас бы мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? И эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятною. И неужели, неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках?

Не хмурьтесь, ваше превосходительство, при слове *золотой век*: честное слово даю, что вас не заставят ходить в костюме золотого века, с листком стыдливости, а оставят вам весь ваш генеральский костюм вполне. Уверяю вас, что в золотой век могут попасть люди даже в генеральских чинах. Да попробуйте только, ваше превосходительство, хотя бы сейчас, — вы же старший по чину, вам инициатива, — и вот увидите сами, какое пироновское, так сказать, остроумие могли бы вы вдруг проявить, совсем для вас неожиданно. Вы смеетесь, вам невероятно? Рад, что вас рассмешил, и, однако же, все, что я сейчас навосклицал, не парадокс, а совершенная правда... А беда ваша вся в том, что вам это невероятно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. МАЛЬЧИК С РУЧКОЙ

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обя-

зана каким-то старьем, — значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит — просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчишки. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, — стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрал копеек, мальчик возвращается с красными, околоченными руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекившимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

...и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал...

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без

всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все — голод, холод, побои, — только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, все факты.

II. МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою

маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — Господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюстителъ порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него

болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в так качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть. «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

— Пойдем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом все куколки, — но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова Елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день Елка для маленьких деточек, у которых там нет своей Елки... — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они

теперь как ангелы, все у Христа, и Он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и спрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

І. РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНЫМ. ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ. ЗЕЛЕНО-ВИНО. ЗУД РАЗВРАТА И ВОРОБЬЕВ. С КОНЦА ИЛИ С НАЧАЛА?

В № 359 «Голоса» мне случилось прочесть о праздновании торжественного юбилея первого десятилетия Российского Общества покровительства животным. Какое приятное и гуманное общество! Сколько я понял, главная мысль его заключается почти вся в следующих словах из речи князя А. А. Суворова, председателя Общества: «И на самом деле, задача нашего нового благотворительного учреждения казалась тем труднее, что в покровительстве животным большинство не же-

лало видеть тех моральных и материальных выгод для человека, какие проистекают из снисходительного и разумного с его стороны обращения с домашними животными».

И действительно, не одни же ведь собачки и лошадки так дороги «Обществу», а и человек, русский человек, которого надо образить¹ и очеловечить, чему Общество покровительства животным, без сомнения, может способствовать. Научившись жалеть скотину, мужик станет жалеть и жену свою. А потому хоть я и очень люблю животных, но я слишком рад, что высокоуважаемому «Обществу» дороги не столько скоты, сколько люди, огрубевшие, негуманные, полуварвары, ждущие света! Всякое просветительное средство дорого, и желательно лишь, чтобы идея Общества стала и в самом деле одним из просветительных средств. Наши дети воспитываются и возрастают, встречая отвратительные картины. Они видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам, или, как я видел сам, например, да еще и недавно, как мужик, везший на бойню в большой телеге телят, в которой уложил их штук десять, сам преспокойно сел тут же в телегу на теленка. Ему сидеть было мягко, точно на диване с пружинами, но теленок, высунув язык и вылупив глаза, может, издох, еще не доехав до бойни. Эта картинка, я уверен, никого даже и не возмутила на улице: «все-де равно их резать везут»; но такие картинки, несомненно, зверят человека и действуют развратительно, особенно на детей. Правда, на почтенное «Общество» были и нападки; я слышал не раз и насмешки. Упоминалось, например, что когда-то, лет пять тому, одного извозчика Общество привлекло к ответственности за дурное обращение с лошадью и его присудили заплатить, кажется, пятнадцать рублей; это-то уж, конечно, было неловкостью,

¹ Образить — словцо народное, дать образ, восстановить в человеке образ человеческий. Долго пьянствующему говорят, укоряя: «Ты хошь бы образил себя». Слышал от каторжных. (Прим. авт.)

потому что, действительно, после такого приговора многие не знали кого пожалеть: извозчика или лошадь. Теперь, правда, положено брать, по новому закону, не более десяти рублей. Потом я слышал будто бы о слишком излишних хлопотах Общества, чтобы бродяжих и, стало быть, вредных собак, потерявших хозяев, умерщвлять хлороформом. Замечали на это, что, пока у нас люди мрут с голоду по голодным губерниям, такие нежные заботы о собачках несколько как бы режут ухо. Но все подобные возражения не выдерживают никакой критики. Цель Общества вековечнее временной случайности. Это идея светлая и верная и которая, рано ли, поздно ли, а должна привиться и восторжествовать. Тем не менее, смотря и с другой точки, чрезвычайно бы желательно, чтобы действия Общества и вышесказанные «временные случайности» вошли, так сказать, во взаимное равновесие; тогда, конечно, яснее бы определился тот спасительный и благодетельный путь, которым Общество может прийти к обильным и, главное, к практическим уже результатам, к результатам действительного достижения цели... Может быть, я неясно выражаюсь; расскажу один анекдот, одно действительное происшествие, и надеюсь, что наглядным изложением его яснее передам то, что мне хотелось выразить.

Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году, когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург. Я и старший брат мой ехали, с покойным отцом нашим, в Петербург, определяться в Главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то

страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я непрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции, на постоялом дворе, в каком селе, не помню, кажется в Тверской губернии; село было большое и богатое. Через полчаса готовились тронуться, а пока я смотрел в окно и увидел следующую вещь.

Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогдашними фалдочками назади, в большой трехугольной шляпе с белыми, желтыми и, кажется, зелеными перьями (забыл эту подробность и мог бы справиться, но мне помнится, что мелькали и зеленые перья). Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки. Помню, мне тогда сказал наш извозчик, что такой фельдъегерь всегда на каждой станции выпивает по рюмке, без того не выдержал бы «такой муки». Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбежал с ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это

вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, непрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят, а что этот особенно, и его все уже знают; что он, выпив водки и вскочив в тележку, начинает всегда с битья и бьет «все на этот самый манер», безо всякой вины, бьет ровно, подымает и опускает и «продержит так ямщика с версту на кулаках, а затем уж перестанет. Коли соскучится, может, опять примется среди пути, а может, Бог пронесет; зато уж всегда подымается опять, как подбегать опять к станции: начнет примерно за версту и пойдет подымать и опускать, таким манером и подъедет к станции, чтобы все в селе на него удивлялись; шея-то потом с месяц болит». Парень воротится, смеются над ним: «Ишь тебе фельдъегерь шею наkostenялял», а парень, может, в тот же день прибудет молодую жену: «Хоть с тебя сорву»; а может, и за то, что «смотрела и видела»...

Без сомнения, бесчеловечно со стороны ямщика так хлестать и нахлестать лошадей: к следующей станции они прибежали, разумеется, едва дыша и измученные. Но кто же бы из Общества покровительства животным решился привлечь этого мужика к ответственности за бесчеловечное обращение с своими лошадами, ведь не правда ли?

Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом наклонен был объяснять уж, конечно, слишком односторонне. Вы поймете, что дело идет лишь о давно минувшем. Картинка эта являлась, так сказать, как эмблема, как

нечто чрезвычайно наглядно выставлявшее связь причины с ее последствием. Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку. В конце сороковых годов, в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати Общества как эмблему и указание.

О, без сомнения, теперь не сорок лет назад, и курьеры не бьют народ, а народ уже сам себя бьет, удержав розги на своем суде. Не в этом и дело, а в причинах, ведущих за собою следствия. Нет фельдъегеря, зато есть «зелено-вино». Каким образом зелено-вино может походить на фельдъегеря? — Очень может, — тем, что оно так же скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его перед всякой доброй пропагандой. Пьяному не до сострадания к животным, пьяный бросает жену и детей своих. Пьяный муж пришел к жене, которую бросил и не кормил с детьми много месяцев, и потребовал водки, и стал бить ее, чтобы вымучить еще водки, а несчастная каторжная работница (вспомните женский труд и во что он у нас пока ценится), не зная, чем детей прокормить, схватила нож и пырнула его ножом. Это случилось недавно, и ее будут судить. И напрасно я рассказал об ней, ибо таких случаев сотни и тысячи, только разверните газеты. Но главнейшее сходство зелено-вина с фельдъегерем бесспорно в том, что оно так же неминуемо и так же неотразимо стоит над человеческой волей.

Почтенное Общество покровительства животным состоит из семисот пятидесяти членов, людей, могущих иметь влияние. Ну что если б оно захотело поспособствовать хоть немного уменьшению в народе пьянства и отравления целого поколения вином! Ведь иссякает народная сила, глохнет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, — и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, выросшие в скверне

отцов своих? Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отставать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. Примеры эти еще пока ничтожные, ввиду неисчисленных будущих ужасов. Почтенное Общество, если б захотело хоть немного поспособствовать устранению первоначальных причин, тем самым наверно облегчило бы себе и свою прекрасную пропаганду. А то как заставить сострадать, когда вещи сложились именно как бы с целью искоренить в человеке всякую человечность? Да и одно ли вино свирепствует и развращает народ в наше удивительное время? Носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе всякую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, — все вздор. Беда, если он укрепится в таких мыслях; как ему и не мыслить так? Неужели, например, это недавнее крушение поезда на Одесской железной дороге с царскими новобранцами, где убили их более ста человек, — неужели вы думаете, что на народ не подействует такая власть развратительно? Народ видит и дивится такому могуществу: «Что хотят, то и делают» — и поневоле начинает сомневаться: «Вот она где, значит, настоящая сила, вот она где всегда сидела; стань богат, и все твое, и все можешь». Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А она носится и проникает все мало-помалу. Народ же ничем не защищен от таких идей, никаким просвещением, ни малейшей проповедью других противоположных идей. По всей России протянулось теперь почти двадцать тысяч верст железных дорог, и везде, даже самый последний чиновник на них, стоит пропагатором этой идеи, смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судь-

бой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу. Недавно один начальник станции вытащил, собственной властью и рукой, из вагона, ехавшую даму, чтобы отдать ее какому-то господину, который пожаловался этому начальнику, что это жена его и находится от него в бегах, — и это без суда, без всякого подозрения, что он сделать это не вправе: ясно, что этот начальник, если был и не в бреду, то все же как бы ошалел от собственного могущества. Все эти случаи и примеры прорываются в народ непрерывным соблазном, он видит их каждый день и выводит неотразимые заключения. Я прежде осуждал было г-на Суворина за случай его с г-ном Голубевым. Мне казалось, что нельзя же так вывести совсем неповинного человека на позор, да еще с описанием всех душевных его движений. Но теперь я несколько изменил свой взгляд даже и на этот случай. И какое мне дело, что г-н Голубев не виноват! Г-н Голубев может быть чист, как слеза, но зато Воробьев виноват. Кто такой Воробьев? Совершенно не знаю; да и уверен, что его нет вовсе, но это тот самый Воробьев, который свирепствует на всех линиях, который налагает произвольные таксы, который силой выносит пассажиров из вагона, который крушит поезда, который гноит по целым месяцам товары на станциях, который беспардонно вредит целым городам, губерниям, царству и только кричит диким голосом: «Прочь с дороги, я иду!» Но главная вина этого пагубного пришельца в том, что он стал над народом как соблазн и развратительная идея. А впрочем, что ж я так на Воробьева, один ли он стал как развратительная идея? Повторяю, что-то носится в воздухе, полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой природы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятерилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование. В Петербурге, две-три недели

тому, молоденький паренек, извозчик, вряд ли даже совершеннолетний, вез ночью старика и старуху и, заметив, что старик без сознания пьян, вынул *перочинный ножичек* и стал резать старуху. Их захватили, и дурачок тут же повинулся: «Не знаю, как и случилось и как ножичек очутился в руках». И вправду, действительно не знал. Вот тут так именно среда. Его захватили и затянуло, как в машину, в современный зуд разврата, в современное направление народное; — даровая нажива, ну, как не попробовать, хоть перочинным ножичком.

«Нет, в наше время не до пропаганды покровительства животным: это барская затея», — вот эту самую фразу я слышал, но глубоко ее отвергаю. Не будучи сам членом Общества, я готов, однако, служить ему, и, кажется, уже служу. Не знаю, выразил ли я хоть сколько-нибудь ясно желание мое о том «равновесии действий Общества с временными случайностями», о которых написал выше; но, понимая человеческую и очеловечивающую цель Общества, все же ему глубоко предан. Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею о необходимости озверения одной части людей для благосостояния другой части, изображающей собою цивилизацию, как это везде во всей Европе. У нас же добровольно, самим верхним сословием, с царскою волею во главе, разрушено крепостное право! И потому, еще раз, приветствую Об-

СОДЕРЖАНИЕ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

1876

ЯНВАРЬ	7
ГЛАВА ПЕРВАЯ	7
I. Вместо предисловия о Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гёте и вообще о дурных привычках . . .	7
II. Будущий роман. Опять «случайное семейство»	10
III. Елка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облегчаемые. «Обжорливая младость». Вуйки. Толкающиеся подростки. Поторопившийся московский капитан	12
IV. Золотой век в кармане	17
ГЛАВА ВТОРАЯ	18
I. Мальчик с ручкой	18
II. Мальчик у Христа на елке	20
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	24
I. Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь. Зелено-вино. Зуд разврата и Воробьев. С конца или с начала?	24
II. Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти	33
IV. Одна турецкая поговорка	40
ФЕВРАЛЬ	40
ГЛАВА ПЕРВАЯ	40
I. О том, что все мы хорошие люди. Сходство русского общества с маршалом Мак-Магоном	40
II. О любви к народу. Необходимый контракт с народом	45
III. Мужик Марей	50
ГЛАВА ВТОРАЯ	56
I. По поводу дела Кронеберга	56
II. Нечто об адвокатах вообще. Мои наивные и необразованные предположения. Нечто о талантах вообще и в особенности	59

III. Речь г-на Спасовича. Ловкие приемы	67
IV. Ягодки	76
V. Геркулесовы столпы	82
VI. Семья и наши святыни. Заключительное словцо об одной юной школе	88
АПРЕЛЬ	90
ГЛАВА ВТОРАЯ	90
I. Нечто о политических вопросах	90
II. Парадоксалист	94
МАЙ	100
ГЛАВА ПЕРВАЯ	100
I. Из частного письма	100
II. Областное новое слово	101
III. Суд и г-жа Каирова	104
IV. Г-н защитник и Каирова	110
V. Г-н защитник и Великанова	117
ИЮНЬ	123
ГЛАВА ПЕРВАЯ	123
I. Смерть Жорж Занда	123
II. Несколько слов о Жорж Занде	126
ГЛАВА ВТОРАЯ	134
III. Восточный вопрос	134
IV. Утопическое понимание истории	137
V. Опять о женщинах	144
ИЮЛЬ И АВГУСТ	149
ГЛАВА ПЕРВАЯ	149
I. Выезд за границу. Нечто о русских в вагонах	149
III. О воинственности немцев	152
ГЛАВА ВТОРАЯ	156
III. Немцы и труд. Непостижимые фокусы. Об остроумии	156
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	166
I. Русский или французский язык?	166
II. На каком языке говорить отцу отечества?	169
СЕНТЯБРЬ	176
ГЛАВА ПЕРВАЯ	176
I. Piccola bestia	176
II. Слова, слова, слова!	183
III. Комбинации и комбинации	186
ГЛАВА ВТОРАЯ	191
II. Кифомокиевщина	191
III. Продолжение предыдущего	195

ОКТАБРЬ	201
ГЛАВА ПЕРВАЯ	201
I. Простое, но мудреное дело	201
III. Два самоубийства	209
IV. Приговор	212
ДЕКАБРЬ	215
ГЛАВА ПЕРВАЯ	215
I. Опять о простом, но мудреном деле	215
II. Запоздавшее нравоучение	225
III. Голословные утверждения	229

1877

ЯНВАРЬ	237
ГЛАВА ПЕРВАЯ	237
I. Три идеи	237
III. Фома Данилов, замученный русский герой	243
ГЛАВА ВТОРАЯ	250
I. Примирительная мечта вне науки	250
IV. Русская сатира. «Новь». «Последние песни». Старые воспоминания	255
ФЕВРАЛЬ	262
ГЛАВА ПЕРВАЯ	262
I. <...> Один из неизвестнейших русских великих людей	262
II. Доморожденные великаны и приниженный сын «Кучи». Анекдот о содранной со спины коже. Высшие интересы цивилизации, и «да будут они прокляты, если их надо покупать такою ценой!»	267
III. О сдирании кож вообще, разные aberrации в частности. Ненависть к авторитету при лакействе мысли	272
МАРТ	277
ГЛАВА ВТОРАЯ	277
I. «Еврейский вопрос»	277
II. Pro и contra	281
III. Status in statu. Сорок веков бытия	287
IV. Но да здравствует братство!	294
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	297
I. Похороны «общечеловека»	297
II. Единичный случай	299
АПРЕЛЬ	303
ГЛАВА ПЕРВАЯ	303
I. Война. Мы всех сильнее	303
II. Не всегда война бич, иногда и спасение	309

ГЛАВА ВТОРАЯ	313
Сон смешного человека (<i>фантастический рассказ</i>)	313
Освобождение подсудимой Корниловой	334
ИЮЛЬ—АВГУСТ	337
ГЛАВА ПЕРВАЯ	337
II. <...> Опиять о случайном семействе	337
III. Дело родителей Джунковских с родными детьми	344
IV. Фантастическая речь председателя суда	354
СЕНТЯБРЬ	361
ГЛАВА ВТОРАЯ	361
I. Ложь ложью спасается	361
II. Слизняки, принимаемые за людей. Что нам выгоднее: когда знают о нас правду или когда говорят о нас вздор?	366
НОЯБРЬ	372
ГЛАВА ВТОРАЯ	372
III. Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать	372
ДЕКАБРЬ	379
ГЛАВА ПЕРВАЯ	379
I. Заключительное разъяснение одного прежнего факта	379
II. Выписка	382
III. Искажения и подтасовки. И — нам это ничего не стоит	384
IV. Злые психологи. Акушеры-психиатры	391
V. Один случай, по-моему, довольно много разъясняющий	395
VI. Враг ли я детей? О том, что значит иногда слово «счастливая»	400
ГЛАВА ВТОРАЯ	406
I. Смерть Некрасова. О том, что сказано было на его моги- ле	406
II. Пушкин, Лермонтов и Некрасов	410
III. Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о че- ловеке	419
IV. Свидетель в пользу Некрасова	424

1880

АВГУСТ	431
ГЛАВА ПЕРВАЯ	431
Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине	431
ГЛАВА ВТОРАЯ	442
Пушкин (<i>очерк</i>)	442